

ВИКТОРУ ГЮГО

Вы, по счастливому уделу Рафаэлей и Питтов, едва выйдя из отрочества, были уже большим поэтом; вы, как Шатобриан, как все истинные таланты, восставали против завистников, притаившихся за столбцами Газеты или укрывшихся в ее подвалах. Я желал бы поэтому, чтобы ваше победоносное имя способствовало победе произведения, которое я посвящаю вам и которое, по мнению некоторых, является не только подвигом мужества, но и правдивой историей. Неужели журналисты, как и маркизы, финансисты, лекари, прокуроры, не были бы достойны пера Мольера и его театра? Почему бы «Человеческой комедии», которая *castigat ridendo mores**, пренебречь одной из общественных сил, если парижская Печать не пренебрегает ни одной?

Я счастлив, милостивый государь, пользуясь случаем, принести вам дань моего искреннего восхищения и дружбы.

Оноре де Бальзак

* Смехом исправляет нравы (*лат.*).

Часть первая

ДВА ПОЭТА

В те времена, к которым относится начало этой повести, печатный станок Стенхопа и валики, накатывающие краску, еще не появились в маленьких провинциальных типографиях. Несмотря на то что Ангулем основным своим промыслом был связан с парижскими типографиями, здесь по-прежнему работали на деревянных станках, обогативших язык ныне забытым выражением: довести станок до скрипа. В здешней отсталой типографии все еще существовали пропитанные краской кожаные мацы, которыми тискальщик наносил краску на печатную форму. Выдвижная доска, где помещается форма с набранным шрифтом, на которую накладывается лист бумаги, высекалась из камня и оправдывала свое название «мрамор». Прожорливые механические станки в наши дни настолько вытеснили из памяти тот механизм, которому, несмотря на его несовершенство, мы обязаны прекрасными изданиями Эльзевиров, Плантенов, Альдов и Дидо, что приходится упомянуть о старом типографском оборудовании, вызывавшем в Жероме Никола Сешаре суеверную любовь, ибо оно играет некую роль в этой большой повести о малых делах.

Сешар был прежде подмастерьем-тискальщиком — Медведем, как на своем жаргоне называют тискальщиков типографские рабочие, набирающие шрифт. Так, очевидно, прозвали тискальщиков за то, что они, точно медведи в клетке, топчутся на одном месте, раскачиваясь от кипсея к станку и от станка к кипсею. Медведи в отместку окрестили наборщиков Обезьянами за то, что наборщики с чисто обезьяньим проворством вылавливают литеры из ста пятидесяти двух отделений наборной кассы, где лежит шрифт. В грозную пору 1793 года Сешару было около пятидесяти лет от роду, и он был женат. Возраст и семейное положение спасли его от всеобщего набора, когда под ружье встали почти все рабочие. Старый тискальщик очутился один в типографии, хозяйин которой, иначе говоря «Простак», умер, оставив бездетную вдову. Предприятию, казалось, грозило неминуемое разорение: отшельник Медведь не мог преобразиться в Обезьяну, ибо, будучи печатником, так и не научился читать и писать. Несмотря на его невежество, один из представителей народа, спеша распространить замечательные декреты Конвента, выдал тискальщику патент мастера печатного дела и обязал его работать на нужды государства. Получив этот опасный патент, гражданин Сешар возместил убытки вдове хозяина, отдав ей сбережения своей жены, и тем самым приобрел за полцены оборудование типографии. Но не в этом было дело. Надо было грамотно и без промедления печатать республиканские декреты. При столь затруднительных обстоятельствах Жерому Никола Сешару посчастливилось встретить одного марсельского дворянина, не желавшего ни эмигрировать, чтобы не лишиться угодий, ни оставаться на виду, чтобы не лишиться головы, и вынужденного добывать кусок хлеба любой работой. Итак, граф де Мо-

комб облачился в скромную куртку провинциального фактора: он набирал текст и держал корректуру декретов, которые грозили смертью гражданам, укрывавшим аристократов. Медведь, ставший Простаком, печатал декреты, расклеивал их по городу, и оба они остались целы и невредимы. В 1795 году, когда шквал террора миновал, Никола Сешар вынужден был искать другого мастера на все руки, способного совмещать обязанности наборщика, корректора и фактора. Один аббат, отказавшийся принять присягу и позже, при Реставрации, ставший епископом, занял место графа де Мокомба и работал в типографии вплоть до того дня, когда первый консул восстановил католичество. Граф и епископ встретились потом в палате пэров и сидели там на одной скамье. Хотя в 1802 году Жером Никола Сешар не стал более грамотным, чем в 1793-м, все же к тому времени он припас немалую толику и мог оплачивать фактора. Подмастерье, столь беспечно смотревший в будущее, стал грозой для своих Обезьян и Медведей. Скарედность начинается там, где кончается бедность. Как скоро тискальщик почувял возможность разбогатеть, корысть пробудила в нем практическую сметливость, алчную, подозрительную и проницательную. Его житейский опыт восторжествовал над теорией. Он достиг того, что на глаз определял стоимость печатной страницы или листа. Он доказывал несведущим заказчикам, что набор жирным шрифтом обходится дороже, нежели светлым; если речь шла о петите, он уверял, что этим шрифтом набирать много труднее. Наиболее ответственной частью высокой печати было наборное дело, в котором Сешар ничего не понимал, и он так боялся остаться внакладе, что, заключая сделки, всегда старался обеспечить себе львиный барыш. Если его наборщики работали по часам, он глаз с них не сводил.

Если ему случалось узнать о затруднительном положении какого-нибудь фабриканта, он за бесценок покупал у него бумагу и прятал ее в свои подвалы. К этому времени Сешар уже был владельцем дома, в котором с незапамятных времен помещалась типография. Во всем он был удачлив: он остался вдовцом, и у него был только один сын. Он поместил его в городской лицей, не столько ради того, чтобы дать ему образование, сколько ради того, чтобы подготовить себе преемника; он обращался с ним сурово, желая продлить срок своей отеческой власти, и во время каникул заставлял сына работать за наборной кассой, говоря, что юноша должен приучаться зарабатывать на жизнь и в будущем отблагодарить бедного отца, трудившегося не покладая рук ради его образования. Распростившись с аббатом, Сешар назначил на его место одного из четырех своих наборщиков, о котором будущий епископ отзывался как о честном и смышленном человеке. Стало быть, старик мог спокойно ждать того дня, когда его сын станет во главе предприятия и оно расцветет в его молодых и искусных руках. Давид Сешар блестяще окончил Ангулемский лицей. Хотя папаша Сешар, бывший Медведь, неграмотный, безродный выскочка, глубоко презирал науку, все же он послал своего сына в Париж обучаться высшему типографскому искусству; но, посылая сына в город, который он называл раем рабочих, старик так убеждал его не рассчитывать на родительский кошелек и так настойчиво рекомендовал накопить побольше денег, что, видимо, считал пребывание сына в стране Премудрости лишь средством к достижению своей цели. Давид, обучаясь в Париже ремеслу, попутно закончил свое образование. Метранпаж типографии Дидо стал ученым. В конце 1819 года Давид Сешар покинул Париж, где его жизнь не стоила ни сантима отцу,

теперь вызывавшему сына домой, чтобы вручить ему бразды правления. Типография Никола Сешара печатала судебные объявления в газете, в ту пору единственной в департаменте, исполняла также заказы префектуры и канцелярии епископа, а такие клиенты сулили благоденствие энергичному юноше.

Именно тогда-то братья Куэнте, владельцы бумажной фабрики, купили второй патент на право открыть типографию в Ангулеме; до той поры из-за происков старика Сешара и военных потрясений, вызвавших во времена Империи полный застой в промышленности, на этот патент не было спроса; по причине этого же застоя Сешар в свое время не приобрел его, и скарденность старика послужила причиной разорения старинной типографии. Узнав о покупке патента, Сешар обрадовался, понимая, что борьба, которая неминуемо возникнет между его предприятием и предприятием Куэнте, обрушится всей тяжестью на его сына, а не на него. «Я бы не выдержал, — размышлял он, — но парень, обучавшийся у господ Дидо, еще потягается с Куэнте». Семидесятилетний старик вздыхал о том времени, когда сможет зажить в свое удовольствие. Он слабо разбирался в тонкостях типографии, зато слыл большим знатоком в искусстве, которое рабочие шутя называли пьянографией, а это искусство, весьма почитаемое божественным автором «Пантагрюэля», подвергаясь нападкам так называемых Обществ трезвости, со дня на день все больше предается забвению. Жером Никола Сешар, покорный судьбе, предопределенной его именем*, страдал неутолимой жадью. Многие годы жена сдерживала в должных границах эту страсть к виноградному соку — влечение, столь естественное

* Сешар (Sechard) от *фр.* secher — сохнувший.

для Медведей, что г-н Шатобриан подметил это свойство даже у настоящих медведей в Америке; однако философы заметили, что в старости привычки юных лет проявляются с новой силой. Сешар подтверждал это наблюдение: чем больше он старился, тем больше любил выпить. Эта страсть оставила на его медвежьей физиономии следы, придававшие ей своеобразие. Нос его принял размеры и форму прописного А — кегля тройного канона. Щеки с прожилками стали похожи на виноградные листья, усеянные бородавками, лиловатыми, багровыми и часто всех цветов радуги. Точь-в-точь чудовищный трюфель среди осенней виноградной листвы! Укрытые лохматыми бровями, похожими на запорошенные снегом кусты, маленькие серые глазки его хитро поблескивали от алчности, убивавшей в нем все чувства, даже чувство отцовства, и сохраняли проницательность даже тогда, когда он был пьян. Лысая голова, с плешью на темени, в венчике седеющих, но все еще вьющихся волос, вызывала в воображении образы францисканцев из сказок Лафонтена. Он был приземист и пузат, как старинные лампы, в которых сгорает больше масла, нежели фитиля, ибо излишества, в чем бы они ни сказывались, воздействуют на человека в направлении, наиболее ему свойственном: от пьянства, как и от умственного труда, тучный тучнеет, тощий тощает. Жером Никола Сешар лет тридцать не расставался со знаменитой муниципальной треуголкой, в ту пору еще встречавшейся кое-где в провинции на голове городского барабанщика. Жилет и штаны его были из зеленоватого бархата. Он носил старый коричневый сюртук, бумажные полосатые чулки и башмаки с серебряными пряжками. Такой наряд, выдававший в буржуа простолюдина, столь соответствовал его порокам и привычкам, так беспощадно изобличал всю его

жизнь, что казалось, старик родился одетым: без этих облачений вы не могли бы вообразить его, как луковицу без шелухи. Если бы старый печатник издавна не обнаружил всю глубину своей слепой алчности, одного его отречения от дел было бы достаточно, чтобы судить о его характере. Несмотря на познания, которые его сын должен был вынести из высокой школы Дидо, он уже давно замыслил обработать дельце повыгоднее. Выгода отца не была выгодой сына. Но в делах для старика не существовало ни сына, ни отца. Если прежде он смотрел на Давида как на единственного своего ребенка, позже сын стал для него просто покупателем, интересы которого были противоположны его интересам: он хотел дорого продать, Давид должен был стремиться дешево купить; стало быть, сын превращался в противника, которого надо было победить. Это перерождение чувства в личный интерес, протекающее обычно медленно, сложно и лицемерно у людей благовоспитанных, совершилось стремительно и непосредственно у старого Медведя, явившего собою пример того, как лукавая пьянография может восторжествовать над ученой типографией. Когда сын приехал, старик окружил его той расчетливой любезностью, какой люди ловкие окружают свои жертвы: он ухаживал за ним, как любовник ухаживает за возлюбленной; он поддерживал его под руку, указывал, куда ступить, чтобы не запачкать ноги; он приказал положить грелку в его постель, затопить камин, приготовить ужин. На другой день, пытаясь за обильным обедом напоить сына, Жером Никола Сешар, сильно подвыпивший, сказал: «Потолкуем о делах?» — и фраза эта прозвучала так нелепо между приступами икоты, что Давид попросил отложить деловые разговоры до следующего дня. Старый Медведь слишком искусно умел извлекать пользу из свое-

го опьянения, чтобы отказаться от долгожданного поединка. «Довольно!» — заявил он. Пятьдесят лет он тянул лямку и ни одного часа не желает обременять себя. Завтра же его сын должен стать Простаком.

Тут, пожалуй, уместно сказать несколько слов о самом предприятии. Типография уже с конца царствования Людовика XIV помещалась в той части улицы Болье, где она выходит на площадь Мюрье. Стало быть, дом издавна был приспособлен к нуждам типографского производства. Обширная мастерская, занимавшая весь нижний этаж, освещалась через ветхую стеклянную дверь со стороны улицы и через широкое окно, обращенное во внутренний дворик. В контору к хозяину можно было пройти и через подъезд. Но в провинции типографское дело неизменно возбуждает столь живое любопытство, что заказчики предпочитали входить в мастерскую прямо с улицы через стеклянную дверь, проделанную в фасаде, хоть и надо было спускаться на несколько ступенек, так как пол в мастерской приходился ниже уровня мостовой. От изумления любопытствующие обычно не принимали во внимание неудобств типографии. Если им случалось, пробираясь по ее узким проходам, засмотреться на своды, образуемые листами бумаги, растянутыми на бечевках под потолком, они наталкивались на наборные кассы или задевали шляпами железные распорки, поддерживающие станки. Если им случалось заглядеться на наборщика, который читал оригинал, проворно вылавливал буквы из ста пятидесяти двух ящичков кассы, вставлял шпону и перечитывал набранную строку, они натыкались на стопы увлажненной бумаги, придавленной камнями, или ударялись боком об угол станка; все это к великому удовольствию Обезьян и Медведей. Не было случая, чтобы кому-нибудь удавалось дойти без приключений

до двух больших клеток, находившихся в глубине этой пещеры и представлявших собою со стороны двора два безобразных выступа, в одном из которых восседал фактор, а в другом — сам хозяин типографии. Виноградные лозы, изящно обвивавшие стены здания, приобретали, принимая во внимание славу хозяина, особо приманчивую местную окраску. В глубине двора, прилепившись к стене соседнего дома, ютилась полуразрушенная пристройка, где смачивали и подготавливали для печати бумагу. Там помещалась каменная мойка со стоком, где перед печатанием и после печатания промывались формы, в просторечии *печатные доски*; отсюда в канаву стекала черная от типографской краски вода и там смешивалась с кухонными помоями, цветом своим смущая крестьян, съезжавшихся в базарные дни в город. «А ну как сам черт моется в этом доме?» — говорили они. К пристройке примыкали с одной стороны кухня, с другой — сарай для дров. Во втором этаже этого дома, с мансардой из двух каморок, было три комнаты. Первая из них, находившаяся над сенями и столь же длинная, если не считать ветхой лестничной клетки, освещалась с улицы сквозь узкое оконце, а со двора — сквозь слуховое окно, и служила вместе и прихожей и столовой. Незатейливо выбеленная известью, она с грубой откровенностью являла образец купеческой скарденности; грязный пол никогда не мылся; обстановку составляли три скверных стула, круглый стол и буфет, стоявший в простенке между дверьми, которые вели в спальню и гостиную; окна и двери потемнели от грязи; комната была обычно завалена кипами оттисков и чистой бумаги; нередко на этих кипах можно было увидеть бутылки, тарелки с жарким или сладостями со стола Жерома Никола Сешара. Спальня, окно которой, в раме со свинцовым переплетом, выходило во

двор, была обтянута ветхими коврами, какими в провинции украшают стены зданий в день праздника Тела Господня. Там стояла широкая кровать с колонками и пологом, с шитыми подзорами и пунцовым покрывалом, два кресла, источенные червями, два мягких стула орехового дерева, крытые ручной вышивкой, старая конторка и на камине — часы. Эта комната, дышавшая патриархальным благодушием и выдержанная в коричневых тонах, была обставлена Рузо, предшественником и хозяином Жерома Никола Сешара. Гостиная, отделанная в новом вкусе г-жою Сешар, являла взору ужасающую деревянную обивку стен, окрашенную в голубую краску, как в парикмахерской; верхняя часть стен была оклеена бумажными обоями, на которых темно-коричневой краской по белому полю были изображены сценки из жизни Востока; обстановка состояла из шести стульев, обитых синим сафьяном, со спинками в форме лиры. Два окна, грубо выведенных арками и выходивших на площадь Мюрье, были без занавесей; на камине не было ни канделябров, ни часов, ни зеркала. Г-жа Сешар умерла в самый разгар своего увлечения убранством дома, а Медведь, не усмотрев в напрасных ухищрениях никакой выгоды, отказался от этой затеи. Сюда именно, *pede titubante*^{*}, привел Жером Никола Сешар своего сына и указал ему на лежавшую на круглом столе опись типографского имущества, составленную фактором под его руководством.

— Читай, сынок, — сказал Жером Никола Сешар, переводя пьяный взгляд с бумаги на сына и с сына на бумагу. — Увидишь, что я отдаю тебе не типографию, а сокровище.

^{*} Спотыкаясь (*лат.*).

— «Три деревянных станка с железными распорками, с чугунной плитой для растирания красок...»

— Мое усовершенствование, — сказал старик Сешар, прерывая сына.

— «...со всем оборудованием, кипсеями, мацами, верстаками и прочая... тысяча шестьсот франков!..» Но, отец, — сказал Давид Сешар, выпуская из рук инвентарную опись, — да это просто какие-то деревянные, а не станки! И ста экую они не стоят, разве для топки печей пригодятся...

— Деревяшки? — вскричал старик Сешар. — Деревяшки?.. Бери-ка опись и пойдем вниз! Поглядишь, способна ли ваша слесарная дребедень работать так, как эти добрые, испытанные, старинные станки. И тогда у тебя язык не повернется хулить честные станки, ведь они прочны, что твои почтовые кареты, и будут служить тебе всю твою жизнь, не разоряя на починки. Де-ре-вяшки! Да эти деревянные прокормят тебя! Де-ре-вяшки! Твой отец работал на них целую четверть века. Они и тебя в люди вывели.

Отец сломя голову сбежал вниз по исхоженной, покосившейся, шаткой лестнице и не споткнулся, распахнул дверь, ведущую из сеней в типографию, бросился к ближайшему станку, как и прочие, ради этого случая тайком смазанному маслом и вычищенному, и указал на крепкие дубовые стойки, натертые до блеска учеником.

— Не станок, а загляденье! — сказал он.

Печатался пригласительный билет на свадьбу. Старый Медведь опустил рашкет на декель и декель на мрамор, который он прокатил под станок, выдернул куку, размотал бечевку, чтобы подать мрамор на место, поднял декель и рашкет с проворством молодого Медведа. Станок в его руках издал столь забавный скрип,